Майя Кучерская

Станция „Арбатская”

(отрывки)

Ветер на «Ждановской» дул такой, что добивал до Арбата.

Мчался сквозь сумрачный зимний город, по Калининскому, нырял в улицу, вспыхивал серебром в троллейбусных рожках, летел мимо «Самоцветов» и «Охотника», обрушивался в проулок с серо-желтым зданием театра на углу и темнолицым дядькой в тулупе, стоявшим напротив. Обтекал грубые красные руки. Не замечая: на дощатом грязном ящике перед дядькой лежали, испуская северное сияние, освещая весь этот меркнущий зимний день… не замечая, что там.

Просвистывал сквозь высокую арку, влеплял шлепок гладенькому каменному ведру вверх дном, растущему здесь, чтоб повозка не билась о стену, с стародавних времен. Взлетал по вдавленным низким ступенькам подъезда, ударял в деревянную дверь со всей молодецкой дури. Не тут-то было. Обиженный щенячий взвыв, подхваченный стенами парадного, бессильно таял в бесконечной высоте под потолками.

Арбат стоял крепко, Арбат и был дом, крепость, с обжигающими наваристыми щами, шипящими на чугунной сковороде котлетами – растущими в миске горой, ешь скорей, остынет! Студнем, холодцом, капустой, пирогами, блинами (бабушка), рогаликами, сухариками, тортиком, блинчиками (Верочка), ледяной водой, бьющей из начищенного медного крана – только потом появилась колонка. С бесконечной добротой слов, рук – дед.

Он единственный разговаривал со мной подолгу, возвращался с работы светлым апрельским вечером, доставал из кармана черепаховый очешник – ну-ка, где мои очки? Щелкает упругая кнопка, а там – цветочки желтенькие вместо очков! В бархатной красной подкладке улегся набранный букетик. Тебе нарвал. Мать-и-мачеха. «Снег вон еще лежит», – строго вступает бабушка. А я нашел. На солнышке уже выросли. Для тебя. Меня? Я не могу поверить. Но все, что он делал, было для меня. Кораблик, складный, газетный, поплыл по Москве-реке, куда же он доплывет? До моря. Стишки – неведомые, детские, выкопанные невесть откуда, шуточки бережные. Шоколадки с неизменной девочкой в платочке. На тебя похожа, смотри.

Русский сероглазый крестьянин с мягким лицом потомственного интеллигента. Он приехал в Москву из деревни – однако знал всё, что нужно для жизни; например, что с ребенком важно разговаривать. Рассказывать ему не по книжкам про звезды на небе, что они вовсе не маленькие точки – громадные планеты, и свет их струится на землю много лет, и про воздух, почему он такой вкусный весной, и про наш город, как сначала он был весь в

деревянных домиках по краям, каменный только в середке, а в одном таком, деревянном, жил раньше он, мой дедушка.

Однажды на дне бабушкиного чудесного ящика с пуговицами – всех оттенков и мастей, с тряпочной шляпкой и металлической, простушками и королевами, сверкающими драгоценными гранями, – обнаруживаются две медали, явно давным-давно здесь забытые, окутанные нитками, – с черно-оранжевым полосатым верхом. Что это? «Это дедовы, с войны». Так я узнаю, что дедушка воевал. Медали бабушка забирает и прячет – не место им все же среди пуговиц.

Но стоп-стоп. Кому первому воздать мне? С чего начать? Дедушка сам, помимо авторской воли, уже вырос на пороге, с цветочками, а дальше – кому? Надо бы бабушке, но сначала все же глазированным сыркам.

Дядька появлялся и исчезал на нашей улице напротив театра Вахтангова по своему таинственному графику, чаще его не было, но изредка он все-таки стоял. Нет, он нарочно ждал нас, пока мы с бабушкой вернемся. После «кружка» зайдем в «Диету» за хлебом, я («тымояпомощница») встану в очереди к прилавку, пока бабушка – в очереди в кассу, деловито двинемся дальше – картошка кончается, зайдем и за картошкой в пахнущий сухой землей овощной.

По дороге домой он подстережет нас – и выпрыгнет. В ушанке, с сырками в синей серебристой обертке, выложенными на деревянном не слишком чистом занозистом ребре ящика. Прибережет для нас ровно два. Отрежет на бабушкин вздох: «Последние!»

(…)

Здесь совсем не так, в этой арбатской квартире, даже дверей не одна, а две. Первая – входная, потом еще следующая, со стеклянным прямоугольным окошком. Между ними в простенке слева высятся полки, обитые клеенкой. На полках – банки, баночки, бутылочки и бутыли. В них плещется темное, густое. Есть у арбатской квартиры и второй выход, «черный ход» – но как ни искала, ничего черного я там не нашла – крашеные зеленые стены, легкая вонь. Бабушка через черный ход выносит мусорное ведро на помойку. С этой стороны тоже две двери. И простенок, но шире, он тоже забит, не вареньем, а инструментами, тазиком, ведрами. Это место зовут «кладовка». Первое просто – «между дверьми». (…)

Двор на Арбате тоже другой. Прямоугольник за низеньким каменным забором, по этому забору очень удобно ходить! Стиснутый со всех сторон домами, нашим, Андрюшки-Генкиным, неизвестным, без выхода во двор, и высоченным небоскребом со стеклами в облаках. На улицу Вахтангова нам выходить нельзя, в другие дворы тоже лучше не надо.

(…)

А потом дедушка умер.

От третьего инфаркта, внезапно, лежа в больнице и уже собираясь выписываться, жарким июльским днем.

И изменился Арбат.

Все вроде бы шло по-прежнему – варенья, рогалики, холодец. Но без деда словно бы не осталось уже ничего кроме. Ласковой доброты, невидимо разлитой в воздухе, стало отчетливо меньше. И в самой квартире сделалось вдруг темней, или это просто деревья выросли во дворе? (…)

Я сто раз потом бывала на Арбате, как и все, переживала его перерождение из живой улицы в глянцевую, ходила дивиться на хиппи, сидевших прямо на асфальте и что-то наигрывавших на гитаре, а потом привыкла и к такому Арбату. Без троллейбусов и «Зоомагазина», без «Охотника» и кафе-мороженого. (…)

Теплые окошки квартиры на первом этаже смотрели холодно, поблескивая стеклопакетами; прежнюю деревянную дверь сменила роскошная с безвкусной медной ручкой. Мне захотелось вдохнуть знакомого затхлого подъездного запаха, дочка дернула ручку – конечно, закрыто. Домофон. Набрать «17»?